




Ф. СОРОКИН

ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ
В ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ
1917 ГОДА

1 9 3 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТКАТОРЖАН



ЛЕШЕВАЯ 
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ **БИБЛИОТЕКА**

№ 2

МАССОВАЯ СЕРИЯ

№ 2

ГИ 181
С 727 Р

Ф. СОРОКИН
X

**ГВАРДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ
В ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ
1917 ГОДА**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ
МОСКВА**

1

9

3

2

ДЕШЕВАЯ ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
1932 г. № 2 (336)

Обложка работы художника
В. Г. Бехтеева

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2008

ГМ181
Р
С727

Сдано в производство 19/III—1932 г.
Подписана в печать 17/VI—1932 г.
Формат бумаги 72 × 105 см — 2 п.
листа 116 000 знаков в бумаж. листе.
Издат. № 16. Ответственный ред.
Я. Б. Шумяцкий. Технический ред.
К. М. Давыдова. Корректор К. В.
Покровский



69508 y

~~971~~
32

Уполном. Главлита № В — 17133 Заказ 54 Тираж 35.200

Школа ФЗУ Мособлполиграфа. Москва, 2-я Рыбинская 3.

I

Следуя примеру своих отцов, дедов и прадедов, стяжавших боевую славу «доблестной» морской части, гвардейский экипаж и в мировую войну не остался вне театра военных действий. Он принял участие в войне почти с самого ее начала. Но так как гвардейский экипаж в мирное время обслуживал, главным образом, царские яхты,— суда, совершенно неприспособленные к военным операциям,— то в подавляющем большинстве живая сила этого экипажа и все призванные из запаса гвардейские матросы были направлены в действующую армию.

В августе 1914 года из моряков гвардейского экипажа были сформированы два отдельных батальона, с подрывными командами каждый. В начале сентября того же года оба эти батальона отправились на фронт: один в Новогеоргиевскую крепость, на реку Вислу, а другой в Ковно, на Неман. До начала весны 1915 года они оставались на своих местах, а затем их перебросили в Одессу, где и соединили в один батальон. Туда я прибыл с первым из них.

За два с половиной года войны нам пришлось исколесить немалое пространство по фронту и в тылу фронта. Неман и Висла, Одесса, Николаев, Севастополь и опять Одесса, затем Галиция, Минск, Барановичи, а оттуда под Ковель и опять в Одессу, а из Одессы на Дунай. Вот главные пункты нашего пребывания. Да сколько еще было второстепенных! За все это время нас то откомандировывали, то прикоманди-

ровывали к морскому командованию, делая это в зависимости от того, что имелось в виду начальством батальона: участие ли в боевых операциях армии, или же высадка морского десанта на турецком берегу Черного моря, в Зугундулаке. Шутя, да и не в шутку, называли тогда мы себя сухопутными моряками.

Командиру батальона, капитану 1-го ранга Саблину 2-му не составляло особых затруднений добиться того или иного прикомандирования и откомандирования своей части. Будучи флигель-адъютантом и продолжая числиться старшим офицером царской яхты «Штандарт», он приехал к нам в батальон весной 1915 года из Могилева, из ставки. Он приехал лишь для того, чтобы получить «боевые» отличия. Со ставкой он имел постоянную и непосредственную связь; еще больше поддерживал связь с Царским селом — с Александрой. Получив под Ковелем желаемое: «Геоργия» и золотое оружие, Саблин сдал батальон капитану 2-го ранга Мясоедову-Иванову, а сам уехал обратно в ставку. На Дунай мы отправились уже без него.

Ко всем этим бесконечным переброскам матросы уже до известной степени привыкли, делая из них свой вывод: начальству нужны «кресты», а экипажу в целом (опять-таки ради начальства) — некоторое место в истории. Но когда с Дуная батальон начали перебрасывать в Петроград, да к тому же еще с небывалой поспешностью, то сразу же все мы почувствовали в этом передвижении что-то особенное. Судя по всем данным, на Дунае батальон наш собирался пробыть довольно продолжительное время. Однако, на деле получилось совсем другое. Никакая логика, если только исходить из чисто-военных соображений, не оправдывала этого передвижения. И мы начали искать разгадку в другом.

А разгадка напрашивалась сама собой. Нужно заметить, что в среде наших матросов были и такие, которые очень интересовались политическими вопросами;

зачастую в тесных кружках, да и не в совсем тесных, они обсуждали текущий момент, настраивая окружающих на революционный лад. Газеты для некоторых являлись необходимой потребностью; чтение их обычно происходило в большом кругу слушателей. К этому надо прибавить и то обстоятельство, что еще до ухода нашего батальона на Дунай, в Одессе начали циркулировать слухи о якобы подготавливаемом сепаратном мире с Германией,— путем закулисным, конечно. Правда, слухи эти не очень-то были распространены в народе, но до нас они дошли скоро. Да и кое-что еще улавливалось нашим братом в городе. А тут отпускники и командировочные с разных мест привозили всевозможные новости. Мы знали, что в России повсеместно начали обучать полицию пулеметной стрельбе, и полагали, что делается это не для военных надобностей. До нас дошли слухи, что будто бы на северном фронте одна из воинских частей (полк или целая дивизия) отказалась идти в окопы из-за плохого питания и грубого обращения начальства с солдатами. Мы также знали, что в народе все больше и больше начали поговаривать о бездарности царя и окружавших его сановников, вершителей судеб страны. Порой и абсурдные слухи возводились нами в степень действительных, а мелкие факты — в большие, но это не изменяло настоящей сути дела. Суммируя все это, мы приходим к выводу: война в этом году будет закончена, а правительство готовится к отпору революции. Многие из нас, «стариков», и передовых матросов из молодежи и раньше верили в революцию, но считали ее делом послевоенным. Однако, срочный вызов батальона в Петроград поколебал наши определения по части развития революционного настроения в народе. А тут еще подогрели нас своими сведениями, приехавшие как-раз накануне погрузки нашего батальона в эшелоны, два наших же матроса, бывших в Петрограде в командировке. Они поведали

нам о продовольственных хвостах в столице и о надвигавшемся голоде.

— Нарочно правительство это делает, чтобы с немцами в мировую вступить... Да-да, по договору все это у них,— горячо утверждал один из них.

После всех этих сообщений мы уж не сомневались в том, что вызывают нас в столицу не иначе, как для охраны «порядка», или, выражаясь проще, для подавления нарастающего там революционного движения. Нам приходилось лишь гадать: или революция пока еще только мерещится правительству, или на самом деле началось в тылу революционное движение.

Меня не было в батальоне в те дни, когда выступил он с Дуная. Случилось это вследствие сильных морозов, столь необычайных для юга. Они настолько сковали устье Дуная льдом, что пароходное движение приостановилось, что было единственным способом связи между городом Измаилом, где располагался наш батальон, и Одессой. Морозы начались недели за три до перемены нашей стоянки. За такой, хотя и короткий сравнительно, срок, в Одессе скопился не один десяток матросов, возвращавшихся из отпусков и командировок. В число застрявших попал и я. Со своими товарищами встретился я на станции Одесса-Товарная, когда собрали туда весь батальон для погрузки в эшелоны.

— Что это значит?

— Почему такая спешка?

— Что слышно нового вообще?

Такого рода вопросами закидали меня при первой же встрече, и тут же некоторые высказывали свои соображения:

— Видно — того, заваривается там что-то в центре, недаром же не дали нам и пароходов дождаться, а пешком шпарили всю дорогу, да как еще — на все 28 узлов!

— Если б Кирюшка,— как звали матросы своего ко-

мандира, быв. великого князя Кирилла Владимировича,— соскучился по нас, то зачем тогда гнать нас как на пожар, стало быть, тут какая-то загвоздка есть.

А мой приятель минер Гриша Давыдов, по прозвищу «Борода», так подавленно выглядел, словно он только что опустил в могилу всех своих близких родственников.

— Ты, Гриша, что закручинился? — спрашиваю его.

— Плохо, Данилыч,— пасмурно ответил он.

— Почему? — хотя и у меня на сердце тоже было нелегко.

— Так и знай, что нас первых будут заставлять в народ палить.

— Не надо палить.

— Тогда нам сделают свинцовый душ... — помолчав немного, добавил он.— Конечно, я скорее соглашусь умереть, чем стрелять в народ, но ведь нас в батальоне свыше двух тысяч человек, чорт же их батьку знает, что у них у каждого на уме. И то надо принять во внимание, что в строевых ротах молодняку больше половины.

Такое настроение было не у одного Давыдова. Едва ли кто, даже и из молодых матросов, допускал, что с такой спешкой батальон везут на отдых; ну, а если не так, тогда значит, что в центре развиваются события, куда более важные, нежели на фронте.

Особенно в разговоры пускаться было некогда: начальство сильно торопило с погрузкой, приходилось лишь обмениваться короткими замечаниями да бросать друг другу вопросы. Улучив как-то подходящий момент, вкрадчивой походкой подошел ко мне один из фельдфебелей и, потоптавшись неловко на месте, спросил:

— Как думаете, Данилыч, к чему все это?

— Надо полагать, что центр нуждается в нас куда больше, чем фронт,— высказал я свое мнение.

— А к чему такая спешка?

— Очевидно в связи с открытием очередной сессии Государственной думы.

— М-м-да-а,— протянул фельдфебель и, нахмурившись, поспешно зашагал куда-то в сторону от эшелона.

— Ага, шкура, живот заболел! — мотнув головой вслед удалявшемуся фельдфебелю, заметил один из матросов, слышавший наш разговор.

Двое товарищей отозвали меня в сторону к повозкам и начали было излагать свои соображения насчет подготовки батальона во время пути, на случай выступления, но нас сейчас же прервал командир 2-й роты, старший лейтенант Хвощинский.

— Вы, минная команда! Довольно вам разговоры разговаривать; времени в нашем распоряжении и так очень мало, торопиться надо с погрузкой! — делает он нам замечание.

— Данилыч, заметил, каково начальство-то наше? Это что-то знаменательное. Особенно посмотри на Хвощинского,— шепнул мне на ухо один из товарищей.

Присмотревшись к офицерам, я действительно заметил некоторую особенность в их настроении. Командир батальона,— здоровенная фигура, походившая на откормленного першерона,— важно прохаживался по платформе, похлопывая себя хлыстиком по голенищам сапог: как будто ничего особенного не происходило. Но почему-то Мясоедов-Иванов, в виде редкого исключения, на сей раз был совершенно трезв и, кроме того, он ничем не проявлял обычно присущей ему грубости. Он старался не вступать ни в какие посторонние разговоры с офицерами и коротко отдавал распоряжения. Однако, за всей его деловитостью и напускной важностью, была заметна скрытая тревога; в его голосе слышалось некоторое волнение. А капитан 2-го ранга Кублицкий, помощник командира, тот даже не в состо-

янии был скрывать охватившей его растерянности. Волновалась слегка и офицерская молодежь, ожидая впереди что-то весьма интересное и вместе с тем связанное с чем-то весьма таинственным и зловещим. Больше всех выделялся старший лейтенант Хвоцинский, по внешности скорее походивший на эконома в имении захудалого барина, нежели на офицера гвардейского экипажа: он выглядел как-то по-новому, не тем Хвоцинским, каким он был всегда: как будто многое в нем подменили.

Старший лейтенант Хвоцинский из всех офицеров батальона считался самым выдающимся героем, хотя в действительности он далеко не всегда бывал таковым. Первый и единственный раз Хвоцинский проявил себя летом 1916 года под Ковелем, когда добыл «боевую славу» батальону и «Георгия» с золотым оружием командиру Саблину. Тогда высшим командованием решено было дать немцам генеральное сражение и взять город с боя. Наш батальон, будучи прикомандирован к гвардейскому корпусу, занимал позицию как раз против Ковеля, в районе села Ветчины (или Починск, точно не помню). Не дожидаясь окончания подготовительной артиллерийской бомбардировки неприятельских передовых укреплений, батальон наш перешел в наступление. В действительности и не батальон даже, а одна лишь 2-я рота под командой Хвоцинского. Им проявленная инициатива оказалась до известной степени удачной: 2-я рота увлекла за собой весь батальон, а за батальоном последовали соседние гвардейские полки, и в результате заняли у противника несколько линий передовых окопов и захватили пленных и артиллерию. За это Хвоцинского наградили «Георгием» и произвели в старшие лейтенанты.

Под Ковелем Хвоцинский тоже был не тем Хвоцинским, каким он бывал вообще. Суховатый по своему характеру, постоянно брюзжавший, как семидесятилетний старик, страдающий геморроем, очень придиричи-

вый к матросам, достаточно бестолковый, а вместе с тем и довольно-таки трусливый в обычное время, лейтенант Хвоцинский на ковельских позициях, ни с того, ни с сего, вдруг проявляет удивительную распорядительность. Он делается деловым и корректным и даже набирается неустрашимости. Все эти достоинства появились у него не сразу, не в один день, а накапливались постепенно в течение трех-четырех недель. Как только командному составу стало известно о подготовке большого наступления на Ковель, в Хвоцинском заметно начала происходить перемена. И не то, чтобы он перед боем стал заигрывать с командой, как бы задабривая ее: нет, у Хвоцинского все это получилось как-то само собой, совершенно бесхитростно и как будто независимо от него самого. Эта искренность и подкупала матросов. Не лгая матросам, он стал проявлять к ним удивительную заботливость и мягкосердечность, принимавшую характер, я бы сказал, задушевности и стиравшую порой все начальственные грани. Хвоцинский становился менее сухим и перестал брюзжать. Распоряжения отдавал коротко, толково. Он, казалось, совсем пренебрегал своей жизнью и в то же время дорожил жизнью других.

Нечто похожее можно было видеть в Хвоцинском и теперь. Он опять стал перерождаться: опять что-то начинало захватывать все его существо, и это что-то начинало его вдохновлять и порождать в нем все те качества, которые появлялись у него под Ковелем. Ничего деланного и фальшивого, как у других офицеров. Все искренно и убедительно.

Хвоцинский назначен был начальником первого эшелона, в который грузилась и наша команда. На его обязанности лежало следить за общим ходом погрузки, и это выполнялось им поразительно. Он появлялся всегда во-время там, где ему в этот момент надлежало быть. По отношению к матросам он был весьма корректен. Распоряжения отдавал толково и вместе с тем

внушительно. Приказания его исполнялись быстро и точно. От этого работа быстро подвигалась вперед.

II

Невозмутимая тишина, царившая на станции Александровке, не мало удивила нас. Постороннего люда почти совсем не было заметно, а станционные служащие в ослабевшем утреннем морозе двигались не спеша и не проявляли никакого волнения. Как-то совсем не гармонировала срочность нашего вызова с поразительным спокойствием на станции. Даже офицерство наше опешило от такой совсем неожиданной картины и, подчиняясь существовавшему здесь настроению, не торопило уже нас с выгрузкой. А ведь как дорогой офицеры волновались из-за опоздания. Нам предстояло прибыть на место назначения не позже, как 10-11 февраля, а мы только утром 15 февраля появились на станции Александровке. Здесь же, в селе Александровке, при станции, где по выгрузке начали расквартировывать наш батальон, мы наблюдали ту же невозмутимую тишину, что и на станции. Опять для нас загадка, что же все значит? А главное, вместо Петрограда, как нам говорили, нас высадили в Александровке, ближайшей станции к Царскому селу. Потом мы узнали, что батальон наш вызывался не в Питер, а в Царское село, для охраны царской семьи. Начальство наше и раньше знало об этом, однако, почему-то считало необходимым скрывать это от нас. Нам также удалось потом установить, что спешный вызов нас с Дуная был связан с открытием очередной сессии Государственной думы. Во-время мы не могли прибыть только из-за морозов, которые задержали батальон в дороге на четыре дня.

Потому ли, что в Александровке не доставало помещений, или по каким-либо иным причинам, нашу команду подрывников и службы связи сразу же препроводили в село Редько-Кузьмино, — километрах в трех

от Александровки, на Петроградском шоссе, в сторону Пулкова,— и разместили там.

В придворных кругах прибытие нашего батальона вызвало большой восторг. Сейчас же начались визиты наших офицеров во дворец, на «высочайшие» завтраки и обеды и на вечера к разного рода придворным персонажам сановного ранга. Не замедлила навестить офицеров батальона и сама Александра. С одной из своих дочерей, Татьяной, она приехала в Александровку в автомобиле. А кругом нас попрежнему наблюдалась невозмутимая тишина. Спокойствие жителей Александровки и Редько-Кузьмина нисколько не походило на предреволюционное настроение. Только в Петрограде в это время хвосты у продовольственных магазинов и лавок все росли и росли; особенно ощущался острый недостаток хлеба. На этой почве кое-где стали происходить скандалы. Стоявшие в очередях люди возмущались и в открытую высказывали недовольство правительством и распоряжками вообще. Об этом мы знали и от своих матросов, ездивших в Петроград к родственникам, и от жителей занимаемых нами сел, работавших в городе. Не прочь были поговорить с матросами на этот счет и агенты придворной полиции и шпики охранного отделения, да не очень-то поддавались мы на их удочку. А эти села, особенно Александровка, словно лес комарами в июньские дни, кишели тайными и явными охранителями царственных особ.

Но недолго пришлось «наслаждаться» нам спокойствием. Через несколько дней по прибытии батальона в Александровку последовало распоряжение, строжайше запрещающее какие-бы то ни было поездки матросов в Петроград, в том числе и командировки по служебным делам. Вслед за этим было сделано второе,— не менее строгое,— запрещающее матросам читать какие-бы то ни было газеты. Эти распоряжения сразу создали более нервное настроение в команде. И если

мы не успели еще хорошенько ориентироваться во всем и не были связаны с революционными организациями и передовыми рабочими Питера, то начальство своими последними распоряжениями сделало все, что было необходимо для того, чтобы натолкнуть нас на известные предположения и умозаключения. И мы стали готовиться к революции, считая ее теперь уж вопросом дней или недель. Однако, несмотря на свое нервное настроение, матросы все же были не прочь посмеяться иногда между собой, подвергая насмешкам строгие приказы начальства.

— Почему нам запрещено читать газеты? — спрашивает один матрос другого.

— Потому что в них про беспорядки пишут, — отвечает тот.

— А «Новое время»?

— Это уж заодно с другими газетами.

— Дудки, брат, как раз другие газеты запрещены заодно с «Новым временем».

— Почему же это так?

— Потому что Мясоед¹ сердит на своего тестя, вот и решил теперь мстить ему...

И матросы вдоволь над этим хохотали.

Затем был отдан третий приказ, запрещавший матросам батальона всякое общение с нашей командой, за исключением лишь служебных дел. День ото дня все строже и строже становились порядки. И все это произошло в первую же неделю нашего пребывания в районе Царского села. Впечатление от всех этих порядков создавалось у нас определенное.

Вслед за третьим приказом последовала разбивка нашего батальона на три группы, превратившая его

¹ Мясоедом звали матросы командира батальона Мясоедова-Иванова, который был женат на дочери Суворина, издателя газеты „Новое время“; как говорили, незадолго до войны Мясоедов-Иванов разошелся со своей женой.

в три почти самостоятельных отряда. Руководились при этом соображениями и стратегического и политического характера. Первый отряд, считавшийся наиболее благонадежным, был отправлен в качестве почетной охраны во дворец, где жила в то время царская семья. Он состоял из первой роты и трех взводов третьей роты. Вторым отряд считался боевым; командиром был назначен старший лейтенант Хвощинский. Этот отряд состоял из второй роты и пулеметной команды. На обязанности второго отряда лежала оборона главных подступов к царскому дворцу. Стратеги рассчитывали тогда, что если будет проявлена возмущившимся народом попытка захватить дворец и проживающую в нем царскую семью, то опасной она может быть только в том случае, если эти силы направятся сюда из Петрограда, а движение этих сил должно будет происходить главным образом по шоссе Петербург — Царское село; подвоз артиллерии и пулеметов, если таковыми будут располагать повстанцы, тоже должен производиться здесь же. Тут Хвощинскому и карты в руки. Отряд его расположился в селе Пулковке, а самого Хвощинского назначили начальником охраны шоссе Пулково — Царское село (участок длиной в 7 километров) и комендантом Пулкова. И, наконец, третий отряд составили все остальные части батальона, не вошедшие в первые два. Он, как политически неблагонадежный, оставался совсем не у дел; его изолировали не только от первых двух отрядов, но и внутри отряда отдельные его части не общались друг с другом.

Наш батальон далеко не являлся тогда единственной военной силой, предназначенной для охраны царской семьи. К тому времени вокруг дворца группировались еще силы, в числе которых находились: сводно-гвардейский полк, так называемый конвой его величества, царскосельский железнодорожный батальон и какие-то еще воинские силы из гвардейских частей и, кроме того, дворцовая полиция. Затем начали стяги-

вать в район Царского села войска с фронта, с значительным количеством пулеметов и артиллерии. Появились и зенитные батареи (видимо, опасались налета аэропланов).

В Петрограде в это время голодный люд собирался на улицах толпами, волновался и ругал правительство.

Полиция оказалась бесильной что-либо сделать. Казаки бездействовали.

III

Центром политической жизни в батальоне являлась наша команда. Она состояла из подрывников-минеров, телефонистов, мотористов и ординарцев (рассыльных). Подрывники и ординарцы представляли собою небольшой кавалерийский отряд, десятка в три с лишним человек. Матросы, смеясь, называли этот отряд морской кавалерией.

Жили мы в Редько-Кузьмине по крестьянским избам, человека по 2-3, а где и по 4, и по 5 в каждой. Дел у нас было не очень много, особенно у подрывников, которые никаких служебных обязанностей вне своей команды не несли. Чтобы скоротать время, мы частенько собирались группами, преимущественно там, где это позволяли делать благоприятные жилищные условия. Я тогда сильно страдал болезнью ног, с большим трудом еле-еле передвигался, поэтому товарищи чаще всего собирались в той квартире, где жил я.

Нас в одном доме помещалось пятеро связанных взаимной дружбой товарищей, в том числе были два ординарца, оба воронежца: А. В. Батурин и П. А. Хорушунов. Хозяин наш, редько-кузьминский богатеи, уступил нам одну из своих комнат, что устраивало нас и в смысле товарищеских бесед и в смысле некоторой изоляции от ворчуньи хозяйки, чрезвычайно скупого и болезненного существа.

Само собой разумеется, что все мы тогда были по-



гlossen надвигавшимися событиями. Срочный вызов батальона с Дуная, строжайшие меры изоляции чуть ли не каждой отдельно роты и команды друг от друга внутри самого батальона, запрещение матросам ездить в Петроград, запрещение команде читать какие-бы то ни было газеты,— все это порождало в нас самые оптимистические взгляды на приближавшуюся революцию. Быть может, и усталость от войны способствовала тому, чтобы видеть во всем желаемое. То, что революция приближалась, для нас было бесспорно; мы лишь гадали о времени и тех жертвах, которые она потребует. Из всего нас окружающего мы делали определенный вывод, что атмосфера насыщена революционным зарядом, и взрыва мы ждали с каждым днем. В результате мы оказались куда ближе к действительности, нежели выдающиеся политические деятели со своими теоретическими выкладками и кабинетными предположениями. Я приписываю это не нашей дальновидности и не особенной способности оценивать политическую ситуацию, а тому, что исключительные условия, в которых мы находились, способствовали развитию в нашей среде оптимизма в отношении грядущих событий.

Несмотря на бдительные изоляционные кордоны, в окружении которых находились роты и команды батальона, нам удавалось все время поддерживать нелегальную связь с наиболее передовыми матросами, находившимися в этих ротах и командах, за исключением первого отряда. Тот окончательно был отрезан от всего мира, и всякая попытка связаться с ним успеха не имела; дальше стен, окружавших царский парк, мы проникнуть не могли. Нас это очень беспокоило, так как в первом отряде, помимо всего прочего, имелись очень хорошие товарищи, все время, до водворения во дворец, державшие с нами, главным революционным ядром батальона, связь; эти товарищи небезуспешно вели революционную работу в своих ротах. Ре-

волюционные группы имелись во всех ротах и командах нашего батальона, и все они были связаны с командой подрывников и службой связи. Для связи со всеми остальными группами и отдельными товарищами мы больше всего пользовались лазаретом. Делалось это очень просто: товарищи в ротах и разных командах нарочно сказывались больными и записывались в лазарет, а я действительно был болен,— и таким образом устраивались встречи в лазарете. Там не всегда было возможно обмениваться мнениями; в таких случаях мы прибегали к запискам. Имелись у нас и другие пути связи.

С размещением нас в Редько-Кузьмине я усиленно начал добиваться связи с революционными организациями Питера, чего достигнуть было очень нелегко. Но все же кое-что в этой области, в конце концов, сделать удалось. Правда, связь наша не носила прямого организационного характера, но все-таки мы ежедневно начали получать информацию из Петрограда: и о ходе развивавшихся событий, и о настроении рабочих масс, и о положении дел вообще. Она поддерживалась через одного молодого, но довольно толкового рабочего франко-русского завода. Звали этого рабочего Колей. Он и газеты доставлял нам.

Нельзя сказать, чтобы Коля привозил из Питера очень много утешительного для нас. Он не был связан с революционными организациями, и поэтому его информация всегда страдала неточностью и отрывочностью.

— Недовольство в народе растет, а мы все еще не организованы и никакой почти деятельности в этой области мы не проявляем. Скажутся все эти недочеты на нашей собственной спине,—с горечью говорил Коля.

Нас особенно тревожила одна мысль: пока революция развернется во всю, крови пролито будет много, и наш батальон в первую очередь будут заставлять усмирять восставших.

— Недаром же экстренно вызывали нас с фронта,— рассуждали матросы.

26 февраля Коля в установленное время не явился из Питера. Отсутствие его нас сильно беспокоило. Жители Редько-Кузьмина еще боялись говорить открыто о питерских событиях, но по секрету передавали один другому такое множество всевозможных противоречивых слухов, что сделать из них какой-либо определенный вывод было невозможно.

После вечерней уборки лошадей, в той квартире, где жил я, собрались все наиболее революционно настроенные матросы нашей команды. Нужно было переговорить о деле. Начали, конечно, с появившихся слухов. Одни говорили, что в Петрограде сейчас происходит разгром продовольственных магазинов и складов и что, будто, там находятся большие запасы продовольствия. Другие утверждали, что с фронта гонят «видимо-невидимо» войска: народ усмирять. Третьи сообщали, что в Петрограде все улицы залиты кровью и т. д., и т. д. Наш «Борода», скептически относившийся ко всем непроверенным слухам, больше всего беспокоился за свой батальон.

— Непременно рабочие выступят,— печаловался он,— а оружия нет у них. Пойдут мирной демонстрацией, как божьи овечки, а нашего брата выгонят, да и заставят поливать их свинцовым дождем...

— Зачем поливать, что наш брат с ума спятил, что ли? — в один голос ответило ему несколько человек.

— Кто говорит, что «поливать» надо,— повышенным тоном заговорил «Борода»,— если бы рабочие выступили с оружием в руках, тогда был бы другой разговор: знал бы, по крайней мере, что у них сила. А коль пойдут они без оружия, стало быть, у них силы нет: ты не будешь в них стрелять, так тебе преподнесут свинцовых леденцов. А все зря, понапрасну под этим душем окажешься, потому что пристать некуда, чтобы силу составить. И тут ты с одним батальоном

ничего не попишешь! Другое дело, когда во всю пойдет, тогда и ты будешь знать, к кому присоединиться.

— Поди, каждый себе не лиходей, с умом ведь тоже люди, рабочих-то хоть бы взять: так тебе и подставят свою грудь. Да и наш брат увидит, в кого ему стрелять приказывают. Это тебе не девятьсот пятый год!— с присущим ему оптимизмом выступил другой товарищ-пензяк.

— Будто рабочие не подставляли своей груди или солдаты ли их не расстреливали,— бросает реплику «Борода».

— Уж кого-кого, а нашего брата непременно в первую очередь погонят в кровавую баню; затем, поди, и гнали нас 2 000 верст сломя голову. Почетная гвардия, как же иначе!— подхватил один из матросов, иронизируя над «почетным» званием экипажа.

Разговор наш был прерван вновь появившимся товарищем Сухачевым. Он только что пришел из Пулкова, куда его, как мастера по шорному делу, вызвал старший лейтенант Хвошинский для починки седла. Не успев даже закрыть за собой двери, Сухачев заговорил:

— Я только что виделся с ребятами из обозной команды, прознали они, что я во второй роте, и нарочно впотьмах поджидали меня, чтоб предупредить, что нам надо быть наготове, так как в Петрограде уж началось по-настоящему. И еще они спрашивают, как мы думаем, и чтоб им поскорее сообщить..

Не успел Сухачев закончить своего сообщения, как приехал Коля. Его появление в Редько-Кузьмине нас очень обрадовало. Несмотря на сильную боль в ногах, я вынужден был пойти на свидание с Колей, так требовали обстоятельства дела. Все товарищи остались меня поджидать, пожелав лишь, чтобы я поскорее возвратился.

Коля привез нам две новости. Первая заключалась

в том, что в Петрограде только что происходил расстрел безоружной толпы солдатами учебных команд Измайловского и Павловского гвардейских полков. Вторая новость говорила о том, что некоторые заводы, по инициативе наиболее революционно-настроенных рабочих, уж послали своих представителей в Таврический дворец. На этих заводах представители избирались еще не общим собранием рабочих, а лишь революционно настроенными группами, при соблюдении всех правил конспирации.

Трудно описать те впечатления, которые произвели на нас привезенные Колей новости. От сведений о расстреле невооруженного народа становилось жутко на душе и кровь леденела в жилах, а сообщение о создании руководящего революционного ядра вселяло бодрость и наполняло душу восторгом.

Далеко-еще не закончился обмен мнений по поводу столь важных событий, как в нашу команду вбежал, вернее, ворвался ординарец Хорушунов. Он приехал из Пулкова, дежурил там у лейтенанта Хвощинского. Бегло окинув взглядом присутствующих и убедившись в благонадежности их состава (только с другой стороны, чем начальство) Хорушунов, волнуясь, вполголоса спросил:

— Вы ничего не знаете?

— Что такое? В чем дело? — спрашивают Хорушунова, видя по выражению лица, что он имеет сообщить что-то важное.

— В Петрограде кровопролитие началось.

— Мы это слышали.

— Завтра, аль послезавтра сюда ждут.

— Кто ждет и кого? — не совсем понимая, что хочет этим сказать Хорушунов, забрасывают его со всех сторон вопросами.

— Только сейчас Хвощинский отдал распоряжение мичману Чигаеву (начальнику команды подрывников и службы связи) и подпоручику Бардашу (помощни-

ку Чигаева), чтобы они были наготове; по всей вероятности завтра, говорит, придется шоссейную дорогу взорвать, чтоб автомобилям нельзя было пройти, а то, говорит, эти сволочи сюда попрут,— в Царское село, значит, рабочие пойдут.

Мы не расспрашивали Хорушунова подробно, откуда и как он получил сведения об этом распоряжении. Но мы не сомневались в замыслах Хвошинского, да и Хорушунов был парень не такой, чтобы ему не верить. Как манна небесная посыпались на нас сообщения, и одно другого важнее. Состояние у всех было напряженное. А последнее сообщение производило даже удручающее впечатление, так как оно касалось непосредственно нас, подрывников. Некоторое время все сидели молча, в тяжелом раздумьи опустив головы, а потом вдруг как-то сразу заговорило несколько человек:

— Значит началось... и сразу прямо за нас принимаются...

— Вот и революция, друзья! Что-то дальше будет?

Всех перебивая продолжал печалиться «Борода»:

— Я так и знал, что нам придется столкнуться в первую очередь. Подчиниться такому распоряжению нельзя, да и нечестно, а не подчиниться, так с нами разделяются, как повар с картошкой. Ведь нас, подрывников, горсточка одна!

Не он один, а все мы тогда считали, что действительно наступает важный и вместе с тем тяжелый момент. На самом деле, будут завтра заставляя два с лишним десятка человек (количество специалистов в команде) взрывать шоссейную дорогу; хорошо зная, для чего это делается, как нам подчиниться такому приказанию? Но, с другой стороны, что же могут сделать эти два десятка с лишним человек, как только не заплатить собственной жизнью? К тому же последние сведения говорили еще и о том, что солдаты стреляют в народ, стало быть, сила еще не на стороне революционеров.

— Может так сделать, если нас будут силой заставлять: пойти, но начать там взрывать как попало, чтоб никакого толка из этого не вышло?—вносит конкретное предложение подрывник Лызлов.

— Нет, уж если ты пойдешь туда, так тебя заставят сделать, как следует. Тут надо что-нибудь одно: итти или не итти,—резко возражает Лызлову «Борода».

Обменявшись мнениями, все пришли к одному выводу: ни в коем случае не подчиняться начальству, категорически отказываясь от взрыва шоссе. И тут же решили, чтобы назавтра с утра известить о своем решении все части нашего батальона, с которыми имелась связь, и убедить прочих подрывников, не присутствовавших на данном собрании, в правильности нашего решения.

IV

Рано утром 27 февраля Коля сам забежал ко мне на квартиру, чего раньше из-за конспиративных соображений никогда не делал. Ему нужно было осведомиться о настроении в батальоне. Коля почему-то был уверен в скором появлении петроградских рабочих в Царском селе.

— Не сегодня, так завтра обязательно будут,—утверждал он.

— Почему вы это заключаете?

— Раз лед тронулся, значит по реке больше нет ни пешего ни на санях ходу. А повстанцам прямой резон захватить прежде всего в Питере правительство, а здесь царское гнездо. Как же иначе?

И еще что-то говорил Коля о предстоящих на 27 февраля каких-то рабочих собраниях по заводам: или выбирать должны куда-то делегатов, или откуда-то должны были притти делегаты. Я толком даже и не понял его. Он говорил быстро и приподнято, видимо, стараясь как можно больше успокоить нас. Уходя,

Коля обещал через своих делегатов передать в Государственную думу депутатам социалистам о настроении матросов в нашем батальоне и о решении подрывников не подчиняться начальству относительно взрыва шоссе.

Весь этот день среди матросов царило нервное настроение. Встретившись друг с другом, приятели не находили слов для поддержания разговора, ограничиваясь лишь отрывочными, короткими фразами. Больше всех волновались наши подрывники, с минуты на минуту ожидая грозного распоряжения начальства.

Но начальство медлило. Лишь около 4 часов дня подпоручик Бардаш приказал фельдфебелю приготовить подрывников и взрывчатые вещества. Подрывники ответили на это отказом. Тогда заявился сам Бардаш и начал прямо с мата:

— ... Это что?.. Бунтовать!.. Да вы знаете, что за такие вещи каждый из вас собственной головой поплатится!..

Однако и мат и угрозы не возымели действия. Взбешенный поведением подрывников Бардаш помчался с докладом к мичману Чигаеву. Тот не замедлил явиться сам в нашу команду и попробовал было уговорить подрывников. Но они уперлись. Тогда Чигаев взревел, как медведь, посаженный на рогатину.

— Запорю!.. В тюрьме сгною!.. Перестреляю всех, сукиных сынов... Я вам покажу политику, ишь, бунтари какие нашлись!..

Но и он не запугал матросов. Никто из подрывников не сдался. Опять Чигаев начал упрашивать по-хорошему.

Не действует.

Еще пуше заревел Чигаев — и за угрозы опять.

Не помогает.

Плюнул в бессильной злобе Чигаев и отправился за советом к старшему лейтенанту Хвощинскому.

Неподчинение группы матросов, к которым приме-

няли угрозы и просьбы, не особенно удивило Хвощинского. Он не выходил из себя, как начальник нашей команды Чигаев, великолепно понимая, что все то, что происходит,— в порядке вещей. Что можно было ожидать хорошего от подрывников, не раз проявлявших свою политическую неблагонадежность и раньше. Применить силу оружия к этой небольшой, но упорной группе, Хвощинский не хотел. Он, видимо, считал, что применять такую меру пока нецелесообразно, хотя подрывники и ожидали насилия с его стороны.

— Не порите горячки, мичман, этим вы только можете все дело испортить. Тут одной строгости недостаточно, пожалуй, нужна и дипломатия,— твердо сказал он Чигаеву и тут же приказал вербовать добровольцев.

Вербовка добровольцев производилась только в узком кругу подрывников. И это вполне понятно почему: незнакомые с подрывным делом люди скорее могли бы взорвать себя, чем достигнуть хотя бы каких-либо положительных результатов. К ночи кое-как отряд добровольцев удалось организовать. Он состоял из самого старшего лейтенанта Хвощинского да мичмана Чигаева с подпоручиком Бардашом и еще двоих: фельдфебеля и унтер-офицера. Двое последних пошли добровольцами не потому, что были противниками революции, а из-за трусости.

Почти всю ночь и на следующий день до обеда взрывали добровольцы шоссе. Уничтожили чуть ли не весь имевшийся в батальоне запас взрывчатых веществ, но толку из этой работы ни на грош не получилось. Шоссейная дорога почти не была повреждена.

Вечером 27-го Коля не приехал в Редько-Кузьмино. Что с ним? Не убит ли он? Отсутствие Коли взволновало всех еще больше. Из бесчисленного множества проникавших в село слухов о событиях, происходивших в Петрограде, нельзя было установить хотя бы приблизительную истину. Благодаря изобилию цирку-

лировавших слухов, напряженное состояние матросов увеличивалось с каждым часом. Никому не сиделось на квартире, но и придя к товарищам, не находили слов для разговоров. Чувствовалось лишь, что в груди у каждого что-то быстро нарастало. Там накоплялась какая-то сила, порой готовая вылиться наружу.

Ночью почти никто не спал. До сна ли тут!

Утром 28-го явился Коля. Он приехал на очень короткое время: только информировать нас, и сейчас же собирался уезжать обратно. По выражению его лица сразу можно было определить его восторженное настроение.

— Ну, друзья, дела разворачиваются во всю! — по-детски подпрыгивая от радости, с сияющей улыбкой во все лицо, закричал он еще издали.

— В чем дело, говори скорее? — нетерпеливо спрашиваем его.

— Весь Питер на ногах, понимаете, революция самая настоящая! Войска уже переходят на нашу сторону. А вчера вечером образовался Совет рабочих депутатов! Вон оно что! Революция, товарищи! — выпаливал Коля слова как из пулемета, а последнюю фразу заорал во все горло, как будто старался прокричать на весь мир об этом.

Однако это еще не значило, что главные препятствия уже были преодолены восставшим народом. Ведь только еще незначительная часть войск перешла на сторону революционеров, а остальные оставались пока еще загадкой. Все же Коля горел восторгом. Восторгались и все матросы нашей команды. Тут же было решено: скорее надо идти в Петроград на присоединение к восставшим.

Одним идти в Петроград не резон; нужно было столкнуться с другими ротами и командами батальона. Это не трудно сделать в нашем третьем отряде, где изоляцию нарушили с самого раннего утра явочным порядком. Другое дело боевой отряд; там Хвощинский

еще строго следил за установленными правилами, особенно за изоляцией своего отряда от всего окружающего. Те товарищи, с которыми мы все время были связаны, из-за этих порядков не могли широко развернуть свою агитационную работу во второй роте, где подавляющее большинство матросов было из молодежи, совершенно не имевшей понятия о морской службе. Вся эта молодежь, состоявшая почти исключительно из неграмотных или совсем малограмотных людей досрочных призывов, являлась наиболее дисциплинированной частью отряда. В пулеметной команде дело обстояло сравнительно лучше. Там подавляющее большинство составляли старые матросы, проявившие себя еще летом в 1916 году, когда начальство в нашем батальоне хотело ввести порку матросов. Однако и там установленные распорядки и зоркий глаз Хвощинского все-таки давали о себе знать: люди не чувствовали себя так независимо, как подрывники и служба связи. Но все же работа в этом отношении началась, и работать стали энергично. В третьем отряде предложение подрывников встретило всеобщее сочувствие со стороны матросов. Особенно скоро отозвалась на это 4-я рота, где за выступление в Петроград ратовал сам фельдфебель Зимин. Мы до того еще поддерживали с ним связь. Он и раньше отличался политической сознательностью. Зимин не принадлежал к так называемым «шкурам» (сверхсрочным); он был произведен в фельдфебели из мобилизованных унтер-офицеров.

Не дожидаясь окончательного ответа 2-й роты и пулеметной команды, наш третий отряд начал собираться в Петроград.

V

В этот день дежурными ординарцами у Хвощинского были Батурин и Хорушунов. По своей близорукости офицеры продолжали еще к некоторым из матросов

службы связи относиться с доверием; в число таких какими-то судьбами попали Батурин и Хорушунов. Оба эти ординарца очень близко стояли к революционно-настроенным матросам. А Батурин принимал даже активное участие в работе революционного кружка и в политических вопросах разбирался хорошо.

Этих-то двух матросов Хвощинский задержал на вторую смену, что заставило их насторожиться.

Между тем к Царскому селу стягивались новые и новые военные силы. В ночь с 27 на 28 февраля в Пулковско и его окрестности в спешном порядке прибыли с фронта полки (если только не изменяет мне память) Либавский, Ревельский и Лифляндский. Либавский и некоторые части других полков разместились в селе Пулково, прочие — в ближайших окрестностях Пулкова. Начальником Пулковского гарнизона был назначен командир Либавского полка, в ведении которого находились и все остальные воинские части, расположенные в окрестностях Пулкова, за исключением нашего батальона, являвшегося самостоятельной воинской единицей.

Когда старший лейтенант Хвощинский убедился в том, что весь третий отряд батальона собирается идти в Петроград, то он решил разделаться с бунтовщиками окончательно. На свой «боевой» отряд он еще полагался вполне. Сам в течение дня несколько раз заходил во 2-ю роту и к пулеметчикам; два раза вызывал их по тревоге и оставался очень доволен состоянием матросов. Но как человек предусмотрительный, он все же учитывал, что одного его отряда может оказаться недостаточным для решительных действий. Ведь матросы могут в самый критический момент, что называется, сдать. А тогда что? В проигрыше Хвощинский не хотел оставаться: бить, так бить наверняка. Тут у него зародилась наполеоновская мысль, и он, не раздумывая много, решил подчинить себе весь Пулковский гарнизон. Удача осуществления задуманного им

плана,— как, надо думать, полагал он,— гарантировала и удачный исход всего дела. Но так как Хвоцинский являлся не ахти какой важной птицей по своему чиновному рангу, равнялся всего лишь армейскому капитану, то кого бы он мог заставить подчиниться себе из среды офицерства Пулковского гарнизона! Только каким-то особым путем, путем обмана можно достигнуть этого. И таковой план быстро созрел в голове лейтенанта. Хвоцинский, надо полагать, руководился тут отнюдь не корыстными или честолюбивыми целями. Он, пожалуй, и сам с удовольствием подчинился бы любому унтер-офицеру и даже рядовому матросу, будь только уверен в полезности этого для дела. Он хорошо понимал, что матросы — это еще небольшая физическая сила: горсточка бунтовщиков и только, но дайте этой горсточке проявить себя во всю, и тогда придется столкнуться с гораздо большей силой, от них заразившейся, и поэтому успех в первом случае обеспечивает ему успех и во втором. И он твердо решил осуществить задуманный им план.

Пока суд да дело, сборы да сговоры, время бежит себе и бежит. А там четвертая рота решила уговаривать своего ротного командира, молодого лейтенанта Кузьмина, который сочувственно относился к революции да только трусил выступить в открытую; от этого и вся рота медлила с выступлением. Так и прошел весь день в сборах да в сговорах. Ночь захватила матросов еще на месте.

Было около 7 часов вечера, когда Хвоцинский приказал вестовому позвать к нему в кабинет дежурного ординарца Батурина.

Тот не замедлил явиться.

— Вот что, Батурин,— обратился к нему Хвоцинский,— ты прежде всего поклянись мне, что в точности исполнишь данное тебе поручение.

Сидя за столом, лейтенант в упор смотрел в глаза Батурина, как бы стараясь своим взглядом насквозь

просверлить человека, а правая рука его крепко сжимала рукоятку нагана, дуло которого было направлено как раз в грудь стоявшего перед ним ординарца.

Батурин, ошарашенный грозным и решительным видом Хвощинского и зияющей пастью направленного на него револьвера, струхнул изрядно, но не растерялся окончательно. Он сразу сообразил, что у Хвощинского в голове созрел какой-то адский план. Хотя еще и неизвестно было, в чем же конкретно заключается этот план, но по всему видно было, что в этом плане есть что-то ужасное и, по всей вероятности, грозящее пролитием человеческой крови. Батурин не мог не содрогнуться от такой мысли, поняв, что Хвощинский и его как-то хочет притянуть к своему кошмарному замыслу; иначе зачем было требовать от него клятвы?

Первый раз в жизни от Батурина требовали клятвенного обещания, если только не считать военной присяги. Дать эту клятву для него было невыносимо тяжело, исполнить поручение — немыслимо. Но, с другой стороны, дуло револьвера, не колеблясь, зловеще смотрело ему в грудь, и Батурин не сомневался в том, что у Хвощинского не дрогнет рука всадить в него пулю.

— Ваше высокоблагородие,— робея и волнуясь, начал Батурин,— пять лет служил я на военной службе, да вот на войне нахожусь — третий, разные поручения начальства приходилось мне исполнять, но до сего времени никто и никогда клятвы от меня не требовал, а теперь вдруг...

Тут его торопливо перебил Хвощинский:

— Теперь дело другого рода; ты сам знаешь, какое сейчас время, да и поручение здесь особенное; вот почему ты должен дать мне клятву.

— Если вы, ваше высокоблагородие, не доверяете мне, то тогда, пожалуй, и клятва не поможет; а если верите, тогда зачем требовать от меня клятвы. Мне просто обидно это слышать от вас! — уж более окрепшим голосом заговорил Батурин.

Последнюю фразу он произнес так убедительно, что Хвощинский, видимо, почувствовал в ней неподдельную искренность. Однако, он продолжал настаивать на своем:

— Нет, Батулин, ты мне все-таки поклянись.

Голос Хвощинского несколько обмяк.

— Тогда разрешите считать, что у вас имеется ко мне полное недоверие,— обиженным тоном ответил Батулин.

Некоторое время Хвощинский сидел молча, строго и внимательно всматриваясь в Батулина, видимо, силясь прочесть в его глазах: правду он говорит или надует. Молча стоял и Батулин, твердо вынося испытующий взгляд начальства. Затем Хвощинский положил на стол револьвер и заговорил уже совсем добродушно:

— Хорошо, я тебе верю, Батулин, и считаю тебя очень порядочным человеком. Так дело вот в чем: ты знаешь, что ваши подрывники взбунтовали четвертую роту, остаток третьей роты, обозников, музыкантов и кой-кого еще, и теперь все они собираются идти в Петроград?

— Так точно, знаю.

— Ну, так вот, поэтому ты сейчас поезжай туда и, не доезжая немного Редько-Кузьмина, сверни в сторону от шоссе; старайся при этом никому не попадаться на глаза, понял? И стой там. Задержка у них с выступлением — из-за четвертой роты, а все остальные давно уже готовы, ждут лишь ее. Но и она скоро будет готова и выступит из Александровки с музыкой. Как только ты услышишь музыку: марсельезу будут играть,— так не медля шпашь ко мне с донесением. Лошади не жалей. Мы их, сволочей, всех до одного перестреляем! Понял?

— Так точно,— еле сдерживая охватившее его волнение, ответил Батулин.

Хвощинский уже совсем спокойно и запросто, слов-

но речь шла о покупке двух десятков соленых огурцов, добавил:

— Я все же считаю, что ты мне слово дал и честно выполнишь возложенное на тебя поручение..., И так, с богом... Да, уж заодно позови-ка ко мне сейчас же Хорушунова, а затем фельдфебелей 2-й роты и пулеметной команды.

Батурин, ничего на это не отвечая, вышел. А когда очутился за дверью кабинета, то его так начало трясти, что нижняя челюсть заходила словно молоточек у электрического звонка и ноги в коленях начали подгибаться.

— Ну, начинается... Ну, начинается...— шептал про себя Батурин.

Полубатальону грозит расстрел: около 1 000 человек, шутка ли? К тому же здесь его наилучшие друзья и товарищи — все свои люди и всех их хотят расстрелять! Как не содрогнуться пред этим?

Он задумывался не над тем, к какой стороне он должен присоединиться, а над тем, как повести дело, чтобы оно вернее было. Батурин не сомневался в том, что и Хорушунову будет дано какое-то важное поручение, а какое именно, ему знать было необходимо. И он стал, не торопясь, приводить в порядок свою лошадь; поправлять на ней седло, подтягивать подпругу, одергивать да охорашивать сбрую, выжидая возвращения Хорушунова от Хвоцинского.

Ждать пришлось недолго. Но Батурин был очень удивлен спокойным видом своего товарища. Значит, ни о чем серьезном с ним Хвоцинский не говорил?

— Петя, как у тебя? — нетерпеливо спросил Батурин Хорушунова.

— Пакетик какой-то дал свезти начальнику гарнизона, — преспокойно ответил Хорушунов.

— А больше ничего не говорил тебе Хвоцинский?

— Нет, только велел лично передать вот этот пакет, прямо в руки начальнику гарнизона. А что?

— Так, ничего. Садись скорее на своего рысака, едем вместе.

— Тебе куда?

— Потом расскажу, торопись только.

Отъехав некоторое расстояние от квартиры Хвоцинского, Батулин обратился к Хорушунову:

— Дай-ка мне свой пакет!

— На что тебе он?

— Посмотреть.

Хорушунов вытащил из-за пазухи небольшой белый пакетик и подал Батулину. Ощупывая в темноте пакет и взвешивая его на руке, тот сейчас же поворотил свою лошадь к уличному фонарю. Хорушунов безмолвно последовал за ним.

При свете фонаря Батулин прочитал на пакете надпись, сделанную рукой Хвоцинского: «Лично, начальнику Пулковского гарнизона и командиру пехотного Либавского полка, господину полковнику... (фамилии командира полка и № полка не помню). А вверху крупными буквами написано: «весьма срочно». На верхнем клапане пакета отчетливо вырисовывался герб — двуглавый орел. Батулин властно, словно он был то самое лицо, которому адресовано письмо, разорвал пакет.

— Андрюша, что ты наделал, ведь я его должен лично вручить начальнику гарнизона! — испуганно вскричал Хорушунов.

— Успокойся, пожалуйста, — решительно осадил его Батулин. И тут же принялся читать извлеченную из пакета бумажку, наскоро пробегаая вступление: начальнику такому-то, командиру такому-то и что-то там еще, и затем уж начал более внимательно:

«Приказываю немедленно выставить по линии шоссе Петроград-Царское село, от села Пулкова в сторону Петрограда, все имеющиеся в вашем распоряжении наиболее надежные боевые части и в упор расстрелять всех матросов гвардейского экипажа, сейчас выступа-

ющих из селений Александровки и Редько-Кузьмина с тем, чтобы идти в Петроград на присоединение к мятежникам». Дальше следует подпись — «Николай».

Хвощинский, таким образом, отдавал распоряжение от имени самого царя.

— Вот так штука! Какой же это Николай? Николая-то тут нет, он ведь в действующей армии? — пораженный содержанием бумажки, в ужасе вскричал Хорушунов, а затем растерянно обратился к Батурину:

— Как же теперь быть?

А Батурин изорвал в мелкие кусочки только что прочитанную бумажку и начал шарить по карманам, отыскивая карандаш. Не найдя — заругался:

— Чорт бы его подрал! Ведь стряется на грех такая беда!

К счастью какой-то огрызок карандаша оказался у Хорушунова. Расписавшись на пустом, только что вскрытом конверте фамилией командира Либавского полка, Батурин возвратил конверт Хорушунову и приказал:

— Повремени где-нибудь в сторонке с четверть часика, а потом передай Хвощинскому этот порожний конверт и скажи, что пакет лично вручил кому следует.

Хорушунов был очень удивлен сообразительностью Батурина и обрадован тем, что ему не пришлось быть невольным участником этого ужасного дела.

— Ты куда теперь, Андрюша? — спросил он Батурин с нескрываемой боязнью оставаться одному.

Батурин наскоро рассказал ему о поручении, данном ему Хвощинским, и своем контр-плане и, пришпорив гнечника, помчался во 2-ю роту.

Очутившись в районе расположения 2-й роты, сч, прежде чем направиться к фельдфебелю, отыскал известных ему вполне надежных матросов и рассказал им кое-что.

— А можно будет мне переговорить об этом непосредственно с некоторыми унтер-офицерами вашей роты? — спросил Батурин в конце разговора.

Матросы быстро привели к нему несколько унтеров. Получив от них заверение в том, что они являются противниками расстрела своих товарищей и не подчиняются своему начальству, Батурин отправился к фельдфебелю.

— Василий Алексеевич, вы как относитесь к затее Хвоцинского? — поставил вопрос ребром Батурин и стал настоятельно добиваться от фельдфебеля определенного ответа.

— Да что я лиходею что ли своему брату, какая мне корысть подводить вас... Я буду держать нейтралитет.

— Поклянитесь в этом.

Увернувшись сам от клятвы, Батурин потребовал ее от фельдфебеля.

Тот без запинки дал клятвенное обещание.

Проделав то же самое и в пулеметной команде, Батурин поскакал в Редько-Кузьмино.

Команда подрывников и служба связи, собравшись по-боевому, в 9 час. утра, нетерпеливо ожидала замешкавшихся, главным образом, 4-ю роту. У подрывников и ординарцев лошади стояли оседланными, а у обозников — впряженными в повозки. Сами матросы слонялись по селу, ворча на затяжку времени.

Сообщение Батурина о замыслах Хвоцинского мало повлияло на настроение команды. Наспех собравшись в одной из квартир, все наиболее передовые матросы из подрывников и службы связи со вниманием заслушали краткую информацию Батурина. Всех тревожила одна мысль — это возможность преждевременного раскрытия проделок Батурина и Хорушунова, а следовательно, и возможность осуществления Хвоцинским составленного им плана, в случае, если он отправит второе, аналогичное распоряжение, но уже иным путем. Во 2-й роте и в пулеметной команде Батурин не сказал о попытке Хвоцинским вызвать армейские полки для расстрела матросов, дабы тем самым не запугать их. И по общему

мнению, в этом Батури́н был безусловно прав. Необходимо было что-то предпринять, чтобы предотвратить всякую возможность вооруженного столкновения. Наскоро обсудив, приняли такого рода решение: поторопить со сборами 4-ю роту и поставить в известность всех матросов о намерении Хво́щинского, умалчивая лишь об армейских частях, в то же время установить тщательное наблюдение за движением армейских частей, расположенных в Пулкове, и, в случае какой-либо тревоги среди них, немедленно довести об этом до сведения всех восставших матросов и уж тогда сообща наметить дальнейший план действий.

Организовать наблюдение за Пулковским гарнизоном взял на себя Батури́н. Он теперь был глубоко уверен в крушении адского замысла Хво́щинского и в предотвращении на сей раз кровопролития. И эта вера еще больше воодушевляла Батурина и окрыляла его какой-то неизъяснимой силой, возбуждавшей в нем страшное желание скакать, носиться морским ураганом, кружиться вихрем, словом, действовать, но не сидеть на месте. Товарищам так и не удалось удержать его от поездки в 4-ю роту, так как все считали, что ему необходимо в срочном порядке возвращаться в Пулково для организации там наблюдательных постов. Никто из присутствующих не знал так хорошо расположение села, как Батури́н.

— Я мигом слетаю; что тут, рукой подать,— ответил Батури́н на все доводы товарищей и, пришпорив лошадь, стрелой полетел в 4-ю роту.

В 4-й роте сборы подходили к концу. Сам командир роты лейтенант Кузьмин (недавно переведенный в гвардейский экипаж из Черноморского флота) гарцевал на своем темно-гнедом жеребце, так как решил выступить вместе с ротой.

— Вы уверены, Батури́н, что 2-я рота и пулеметчи-

ки не будут в нас стрелять? — спросил Кузьмин прискакавшего к ним ординарца.

— Ручаюсь за них. А как ваши сборы?

— Мы скоро будем готовы. Вы можете поспешить к старшему лейтенанту Хвощинскому и доложить ему о нашем выступлении. Разуважьте его напоследок.

Подчиняясь, видимо, общему, царившему среди матросов настроению, Кузьмин говорил восторженно и явно злорадствовал над Хвощинским.

Батурин знал, что ему делать. Несмотря на то, что с его уставшего гнедчика клубами падала пена, он стремглав понесся обратно в Пулково. Ему хотелось прежде, чем доложить Хвощинскому о выступлении 4-й роты, еще раз убедиться, все ли обстоит благополучно в боевом отряде.

Отдав надлежащее распоряжение фельдфебелям 2-й роты и пулеметной команды, Хвощинский, снарядившись по-боевому, сидел у себя в кабинете, ожидая донесения Батурина. К нему начали было заглядывать его подчиненные офицеры, но он, не разговаривая много, отсылал их на свои квартиры, не посвящая даже в курс дела.

Через каких-либо четверть часа его отряд в полном боевом порядке выстраивался уж в шеренги у канцелярии 2-й роты. Фельдфебеля слегка поторапливали матросов, делая это, как видно, просто по привычке. Здесь команда должна была дожидаться дальнейших распоряжений.

Просчитав ряды, фельдфебель Торжков командовал:

— Вторая рота, вольно! Стоять на месте!

Фельдфебель пулеметной команды, проверив все необходимое, сделал то же самое.

Стоя вольно, матросы той и другой части о чем-то серьезно и таинственно перешептывались. Некоторые

выскакивали из строя и бегом направлялись в другие взводы; наспех переговорив там о чем-то, так же бегом возвращались обратно.

Двое матросов 2-й роты успели сбегать к пулеметчикам.

В это время на взмыленном гнедчике появился Батурин. Он подъехал вплотную к выстроившимся матросам 2-й роты и сразу же обратился ко всей роте со словами:

— Ребята, сейчас будут здесь проходить матросы нашего батальона из Редько-Кузьмина и Александровки, вместе с оркестром. Они направляются в Петроград на присоединение к восставшему народу. Ваш командир Хвощинский вывел вас для того, чтобы расстрелять тех, кто сейчас будет проходить здесь по шоссе с красным знаменем и под звуки марсельезы. Я спрашиваю вас, будете ли вы нас расстреливать, так как я тоже пойду с ними вместе?

— Нет, нет!.. Стрелять не будем! — хором ответило множество голосов.

— Можно ли вполне на вас положиться?

— Да, да! Можно! — продолжали отвечать хором матросы, как будто начальству.

Два матроса вышли из фронта вперед и, обратившись к своим одноклассникам, решительно заявили:

— Имейте в виду, что кто первый направит дуло винтовки на своих товарищей, тот будет тут же на месте пристрелен как собака или получит в бок штык по самую шейку. — Сказав это, матросы заняли свои места.

Гул одобрения и заверений в поддержке пронесся по роте.

Уверенный в полном успехе дела Батурин направился в пулеметную команду, стоящую на левом фланге 2-й роты. Там ему дали те же самые заверения, что и во 2-й роте. Кроме того, среди пулеметчиков не мало было достаточно сознательных матросов; команда

состояла главным образом из «стариков». А тут это заверение подкрепилось еще такого рода решительным заявлением второй роты:

— Если пулеметная команда откроет огонь по матросам, идущим в Петроград, то 2-я рота сейчас же начнет расстреливать пулеметчиков.

Пулеметчики не захотели оставаться в долгу и в свою очередь заявили 2-й роте:

— А если 2-я рота откроет по матросам стрельбу, то мы все свои пулеметы направим на нее.

Произошло нечто похожее на обмен нотами.

После этого Батурин мог быть вполне спокоен, — к тому же в Пулкове, в районе, занимаемом армейскими частями, все было тихо. Там зорко наблюдал Хорушун с некоторыми товарищами. И Батурин шагом поехал по шоссе в сторону Редько-Кузьмина.

Не успел он отъехать и четверть версты от Пулкова, как до него долетели звуки марсельезы: то 4-я рота выступала из села Александровки. Охваченный восторгом, Батурин остановил на минутку лошадь, внимательно прислушиваясь к призывным и победным звукам марсельезы. Затем, быстро повернув своего и без того измученного гнедчика назад, поскакал обратно в Пулково с донесением к Хвощинскому.

Получив от Батурина извещение о выступлении 4-й роты, Хвощинский сию же минуту отправился к своему отряду. У него еще не было сомнений насчет успеха в осуществлении задуманного им плана, да и в матросах своей команды он никаких перемен не замечал. Так, по крайней мере, ему казалось. Да если бы и отказались матросы выполнить его распоряжения и если бы даже они примкнули к бунтовщикам, то дело от этого не пострадает: Пулковский гарнизон сделает все необходимое.

Матросы встретили Хвощинского так, как обычно встречали «нижние чины» своих непосредственных начальников. Правда, ночная тьма скрывала от Хвощин-

ского физиономии матросов. Но разве у него не было оснований верить им?

Твердым, уверенным голосом Хвощинский обратился с небольшой речью к матросам, находившимся во фронте.

— Братцы, я всегда верил вам и полагался на вас во всем. Ведь больше двух лет я нахожусь с вами. За это время нам не мало приходилось переживать тяжелых моментов, взять хотя бы передовые позиции под Ковелем. И я никогда не ошибался в своих расчетах. Не сомневаюсь в том, что и на этот раз вы оправдаете мое доверие к вам. Вы были, есть и останетесь честными сынами родины и верными слугами престола. Наш долг и присяга требуют от нас сегодня особенно проявить это...

Свою речь Хвощинский закончил так:

— Сейчас восставшие подрывники и увлеченные ими 4-я рота, обозники и прочая сволочь будут проходить здесь по шоссе под звуки марсельезы. Они идут в Петроград на присоединение к бунтарям и возмущившейся черни. Мы всю эту сволочь должны здесь же расстрелять! — и Хвощинский, быстро выхватив револьвер, сделал им решительный жест в воздухе. — Итак, братцы, с богом, за мной, мы пойдем сейчас занимать позиции. Я надеюсь, бог поможет нам в этом! — И тут же обратившись к фельдфебелям, он приказал вывести обе части по ранее указанному им порядку.

Виновато прозвучала в воздухе жиденькая команда фельдфебелей: не то, что прежде. Но на нее ни один матрос даже не пошевелился. Оба фельдфебеля смолкли, не решаясь повторять ее.

— Ну! Это что! — не теряя самообладания, крикнул Хвощинский и сам зычным голосом начал командовать:

— Вторая рота и пулеметная команда вперед, ша-а-гом, марш!

Но и его команда не произвела на матросов никакого действия.

— Вы что! Не хотите? Хорошо. Мне невольников не надо, я возьму тех, кто пойдет со мной добровольно, а сволочь ту все-таки расстреляем!

Стараясь казаться спокойным, Хвоцинский начальническим тоном крикнул:

— Кто со мной, шаг вперед, марш!

Кто-то из матросов 2-й роты выскочил было вперед и начал виновато озираться по сторонам. Но тут же ощутил такой толчок в бок, что вынужден был встретиться, а тут еще перед его физиономией блеснуло острие штыка. Перепугавшись не на шутку, матрос, живо становясь во фронт, поспешно бормотал:

— Это я ошибся, ребята... Я нет... я нет...

— Вы так! Стало быть, не желаете со мной идти?.. Так вот,— не скрывая больше охватившего его волнения, Хвоцинский при этом высоко поднял над головой револьвер, дулом вверх, и, не совсем еще теряя твердость в голосе, продолжал,— я, как честный офицер русского флота, клянусь перед вами, перед той ротой, с которой сжился и сроднился и которую всей душой люблю. Я даю вам клятву, что скорее предпочту смерть, чем изменить своему долгу и присяге. Я умру, но останусь верным слугою его императорского величества!

Последнюю фразу он произнес с особенным подчеркиванием. А затем, повернувшись спиной к матросам и под глубокое молчание, быстро зашагал в сторону своей квартиры. Его удалявшаяся фигура скоро скрылась во мраке ночи.

А тем временем по шоссе, гулко ударяя ногами о камень, спешно продвигались вперед матросы-повстанцы. Настроение у всех было чрезвычайно приподнятое, переполнившее всех особенно революционным энтузиазмом в Редько-Кузьмине, при появлении под звуки марсельезы красного флага. Нелегко было тогда раздобыть красный флаг, но матросы непременно хотели иметь его.

— Без красного флага итти не резон! — говорили одни.

— Какое же мы войско без знамени! — кричали другие.

— Красный флаг обязательно!

— Товарищи, может, у кого красная рубашка есть или наволочка?

— Молодежь надо спросить!

— У баб здешних, поди, кофта или платок какой-нибудь найдется, красный только, а мы им чего-нибудь другое взамен дадим!

Кричали, бегали, суетились матросы, ища красный флаг.

Наконец, удалось отыскать. У одного из молодых матросов оказалась с собой красная домашняя рубашка. Живо с ней расправились, и флаг готов. И хотя его плохо было ночью видно, но это не мешало людям ощущать могучее революционное дуновение, символом которого был этот красный флаг, и самим наэлектризоваться революционным экстазом.

Матросы не шли, а бежали, не чувствуя усталости. Им навстречу из Пулкова на взмыленной лошади мчался всадник. Приблизительно на полдороге между Редько-Кузьминым и Пулковым они поровнялись. То был Батурин. Он спешил обрадовать товарищей сообщением, что в Пулкове никаких препятствий для дальнейшего шествия отряда не встречается. Но матросы в этот момент так были охвачены революционным порывом, что едва ли бы их смутила какая-нибудь опасность по дороге.

Проскакав по всем рядам проходивших и поставив в известность товарищей, о чем следует, Батурин вернулся к ехавшим впереди с красным флагом подрывникам. Тут он подробнее уж информировал окружающих о затее Хвоцинского и о настроении в его отряде.

— Что вы думаете, ребята? По-моему, его следовало бы арестовать, — внимательно прослушав до конца Батурина, внес предложение лейтенант Кузьмин.

— Правильно! — подхватило несколько товарищей.

— Кто со мной? — вызывает охотников Кузьмин.

Охотников нашлось больше, чем следовало. С общего согласия всех подрывников и ординарцев решено было ехать четверем. Лейтенант Кузьмин, Батурин и еще двое верховых, выделившись из общего строя и прищпорив лошадей, поскакали вперед.

Только что скрылась в темноте фигура Хвощинского, и матросы 2-й роты и пулеметной команды не успели еще прийти в себя и что-либо предпринять, как к ним подъехали четыре всадника с обнаженными шашками.

— Где ваш командир? — спросил один из них; это был лейтенант Кузьмин.

— Ушел, знать, к себе домой! — ответили ему матросы.

— Думает улизнуть! Первый взвод, оцепить сейчас же квартиру Хвощинского! — отдает распоряжение Кузьмин, и тут же добавляет, — мы приехали арестовать его.

Больше взвода матросов бросилось к дому, где жил Хвощинский, и сразу же оцепили его кругом. Но Хвощинского там не оказалось.

— В цепь надо рассыпаться по селу, мы живо его сцапаем, — предлагают некоторые матросы.

— А ну его к чорту, с поганью такой возиться; по мимо немало предстоит делов! — кричат несколько голосов.

Хвощинского оставили в покое.

— Вы с нами ребята? — спрашивает Батурин 2-ю роту и пулеметчиков.

— А то как же?! Мы уж готовы! — отвечают те.

В это время третий отряд под звуки марсельезы входил в Пулково. Боевой отряд по-товарищески устраивает ему встречу.

— Вместе идете с нами? — восторженно кричат первые.

— Вместе, как же! — не менее восторженно отвечают вторые.

Команда подрывников и служба связи предлагают заодно захватить с собой все армейские части, находящиеся в Пулкове, иначе говоря — снять их.

— Что вы, братцы, ведь тут почти целая дивизия! — возражают другие.

Действительно, так поступать было бы весьма рискованно. Кто знает, каково у них настроение, а драться с ними куда же?

— Тогда хоть обезопасить их, пулеметы отобрать у них! — продолжают настаивать подрывники.

— Это хорошо было бы, — соглашаются и другие.

Но как сделать, чтобы беды не нажить: силы-то уж больно не равны.

— Вот что, братцы, налет сделать надо на ихнюю пулеметную команду. Спросонок, что они смогут с нами сделать. А мы и заберем всех и со всеми пулеметами ихними, — высказывают свое мнение некоторые.

— Правильно сказано! Вот это верно! — подтверждают другие.

Но оказывается, что никто из матросов не знает, где и в каком участке села расположены армейские пулеметчики. На помощь пришел лейтенант Кузьмин.

— Ребята, не приметил ли кто из вас, где у них стоят наружные часовые или дневальные, безразлично пулеметчики или нет? Нам нужно будет одного из них захватить в плен, да так, чтобы он и не пикнул. А от него мы потом узнаем все подробности, — высказал он великолепную мысль.

Предложение Кузьмина было одобрено всеми, и тут же нашлось охотников больше, чем нужно; они отправились в поиски часового или дневального.

Через непродолжительное время группа охотников возвратилась назад, прекрасно выполнив задание. Пе-

репугавшийся солдат не успел издать ни малейшего звука, как на него набросился из-за угла здания десяток незнакомых ему людей и под угрозой штыков приказал молчать и беспрекословно следовать за ними.

После этой операции дело обстояло уже проще. Солдат оказался пулеметчиком Либавского полка, а часовым он стоял у сарая, где находились пулеметы. Было всего там 32 пулемета. Пулеметы других полков находились где-то в других местах, причем значительная часть — в окрестностях Пулкова.

Разбившись на небольшие группы, матросы бросились в ту часть села, где размещены были армейские пулеметчики, предварительно захватив с налета их наружных часовых и дневальных. По указанию пленного часового, который, разобравшись, в чем дело, очень охотно предложил свои услуги, матросы разом захватили все избы, где, ничего еще не подозревая, мирно спали армейские пулеметчики.

Солдаты не только не сопротивлялись, но охотно и быстро стали собираться.

— То-то слышно было скрость сон, бытто музыка играла...

— А я проснулся и подумал еще: к чему бы ей ночью играть, ан вон оно что вышло; мне это и в рот не влетело, — рассуждали они, укладывая вещи по-походному.

Одна из матросских групп заняла избу, в которой помещались два офицера. Пулеметчики безропотно начали собираться. Вместе с ними захватили несколько солдат из первых попавшихся под руку.

Наша пулеметная команда тем временем заняла сарай с пулеметами и сейчас же принялась вытаскивать пулеметные двуколки, собирать сбрую и закладывать лошадей, а где что нужно было взять, им указывал пленный часовой. Работа подвигалась очень быстро.

Время уж далеко перевалилось за полночь, когда около 2 000 человек, с громаднейшим, не менее чем ди-

визионным обозом и 48 пулеметами, выступили из Пулкова.

Двадцать километров с лишним до Петрограда прошли, вернее, пробежали, единым махом, с одной лишь пятиминутной остановкой в дороге. Матросы и солдаты шли при полном боевом снаряжении, свои вещи, аммуницию и оружие с соответствующим для военного времени количеством патронов они несли на себе. Но и это не мешало быстрой ходьбе. Музыканты всю дорогу играли то марсельезу, то другие какие-либо революционные песни, наспех разученные ими.

Только при известном энтузиазме человек бывает способен на такую выносливость. Характерным было и то обстоятельство, что никто решительно из матросов, а также и солдат, за всю дорогу, до самого Петрограда, не пожаловался на усталость.

VI

Весело выкатилось на небосклон первомартовское солнышко, ярко бросаясь в глаза своим кроваво-огненным светом. Как будто и оно радовалось вместе с освободившимся от веков тирании русским народом. С появлением огненно-золотистого шара на небе еще восторженнее почувствовали себя матросы и солдаты.

С восходом солнца впереди ярко обрисовался Петроград. До него было совсем уже недалеко. А вот и Путиловский завод — рукой подать. Но что это там?

— Смотрите, ребята, народу-то сколько! — раздаются удивленные голоса.

И действительно, все свободное пространство возле завода и даже крыши заводских зданий, более доступные для публики, стены, заборы, всевозможные вышки, разные тумбы и даже фонарные столбы, все заполнено сплошной человеческой массой.

-- В чем дело?

— Почему столько народу?

— Откуда он? — недоумевают матросы и солдаты.

Оказывается, что рабочие Путиловского завода, какими-то судьбами узнавшие о восстании наших матросов и о том, что почти весь батальон направляется в Петроград, вышли встречать его.

Когда батальон стал подходить ближе к заводу, то вдруг воздух огласился раскатистым, мощным, восторженным криком:

— Уррра-а-а!!! Уррра-а-а!!! Уррра-а-а!!!

И в воздухе замелькали шапки, шляпы, кепи и беленькие платочки. Это многотысячная рабочая масса приветствовала матросов гвардейского экипажа, идущих на присоединение к ним и с еще большим восторгом и большим напряжением кричала:

— Да здравствует революция! Да здравствует власть народа! Да здравствует свобода! Да здравствуют моряки гвардейского экипажа!

И еще много кричали рабочие «да здравствует...», а потом все смешалось в один долго несмолкаемый, потрясающий воздух мощный звук:

— Аааааааааа!

Какой-то невообразимой, но торжественно-могучей и необъятно-грандиозной казалась всем эта картина человеческой массы, охваченной неопишуемым восторгом и запрудившей собой улицу и занявшей крыши зданий, стены, заборы, вышки и все то, за что только можно уцепиться и на чем можно провисеть хотя бы с полминуты. Звуки нашего довольно большого оркестра буквально тонули в этом могучем приветственном крике. А когда матросы стали врезаться в самую гущу рабочих, то на проходящих посыпались со всех сторон цветы. Женщины-работницы, несмотря на зимнее время, сумели где-то раздобыть их в довольно большом количестве.

Поровнявшись с заводскими воротами, матросы были остановлены группой рабочих, вынесших из ворот пре-

огромных размеров красное знамя. Крики «ура» несколько затихли. Приветствуя революционных моряков короткой, но весьма восторженной речью, один из рабочих от имени своего завода преподнес ехавшим впереди подрывникам громадное красное знамя — первый революционный подарок. Оно было передано под звуки марсельезы нашего оркестра и могучие крики «ура» всей многотысячной рабочей массы.

VII

Не остались посторонними зрителями происходивших исторических событий и матросы нашего первого отряда, хотя условия и обстановка, в которых они очутились, ставили их в очень щекотливое положение. Мало того, что они были отрезаны от всего мира и совершенно не знали, что происходит в эти дни по ту сторону стен дворцового парка, их еще разъединили и строго изолировали одну роту от другой. Первая рота была размещена в самом Александровском дворце, в нижнем этаже, а три взвода третьей роты, в царском павильоне, в том же дворцовом парке. Между ними не было даже нелегальной связи.

Положение этих изолированных матросов было исключительное. Состояние духа у всех было чрезвычайно возбужденное. Сидеть против своей воли в самом гнезде тех, против кого восстал народ, было тяжело. Но как быть? Начать борьбу или даже выразить протест было очень рискованно. Всевозможная придворная охрана, включая и полицию, — люди отборные и хорошо вымуштрованные, — куда уж тягаться с ними. Да и вот какая орава их, а матросов всего горсточка!

Такое напряженно-нервное состояние продолжалось до 28 февраля. В тот день положение сразу изменилось.

С утра 28 февраля было видно из парка, как по ули-

цам Царского села начали двигаться с красными знаменами большие толпы вооруженного народа. Когда эти толпы, сгрудившись, направились к дворцу, то войскам, находившимся в царском павильоне, было приказано открыть по ним ружейный огонь. Матросы не подчинились этому распоряжению, а солдаты железнодорожного батальона стреляли в народ.

Поведение железнодорожников сильно возмутило матросов, но они были бессильны что-либо сделать. Обсудив положение, матросы решили тогда явочным порядком оставить павильон, перейти во дворец к первой роте и там совместно наметить дальнейший план действий. Так и сделали. Сделали дружно.

Начальство учло настроение матросов и вместо карательных мероприятий прислало им бочку вина. «Сопьются, дескать, они, а тогда возьмем их голыми руками», — размышляло начальство. А матросы пили вино да приговаривали: «пей, пей, но ума не пропивай».

— Садись, брат; дают пить, чтобы мы дело забыли, но на удочку нас не возьмут.

— Для смелости, почему бы не выпить, но больше ни-ни.

И действительно матросы не только не теряли физического равновесия, но и не лишались здорового рассудка. Вино имело неожиданный результат для пошлавших его.

После выпивки еще крупнее пошли разговоры да обсуждения. Первоначально они шли вразброд. Все делились друг с другом своими мыслями и, собираясь небольшими группами, спорили между собой. После же выпивки ночью открыли настоящее организованное собрание с повесткой дня. А в повестке стоял один вопрос: как быть дальше?

Все считали, что в таком неопределенном положении дальше оставаться нельзя, необходимо было что-то предпринять. Но что? Тут мнения матросов расходились. Одни предлагали сейчас же подняться наверх (на

второй этаж) и арестовать Александру и всех находящихся с ней. А вместо жалкого штандарта с двуглавым орлом поднять над дворцом красный флаг. Другие считали, что было бы целесообразным совсем оставить дворец и идти на присоединение к восставшему народу.

Начались прения.

Долго не могли сговориться матросы, так как сторонников того и другого предложения оказалось почти поровну. Противники первого предложения утверждали, что арест царской семьи небольшой горсточкой людей, оторванных от всего внешнего мира, хотя очень красивый поступок, но далеко нецелесообразный: три кольца пулеметов охраняют дворец; шесть или больше даже батарей полевой артиллерии стояли вокруг него, да сколько еще штыков? А кроме того, немалое количество войск было расположено в окрестностях Царского села. Что представляют из себя в сравнении с этой силой две, да еще неполных, роты матросов, имевших в своем распоряжении только винтовки и весьма ограниченное количество патронов? Самое большее можно было бы отстреливаться из окон дворца, положим, хотя бы сутки, а потом придут и переловят всех, как кур в закуте. Какой толк из всего?

Противники второго предложения доказывали, что все равно так и этак грозит расстрел, но в первом случае можно хоть сутки лишние продержаться. А в революционное время одни сутки могут иметь колоссальнейшее значение.

Появление же красного флага над царским дворцом может послужить толчком к общему народному восстанию. Во втором же случае смерть неизбежна, так как расстреляют тут же всех, не выпуская даже из парка.

Если бы матросы знали хоть немного о положении дел в Петрограде, безусловно восторжествовало бы первое предложение и, несмотря на довольно еще сильную дворцовую охрану, дворец с царской семьей был бы захвачен повстанцами.

Это было бурное длительное заседание. Под утро удалось, наконец, столкнуться. Было решено покинуть дворец, а в целях охраны самих себя от расстрела постановили: силой захватить с собой всех находящихся во дворце офицеров гвардейского экипажа. Матросы рассуждали так:

— Если хочет начальство нас расстреливать, то пусть расстреливает вместе с офицерами, а если оно пожалует своих людей, так и мы невредимо пройдем через все эти цепи пулеметных стволов и орудийных дул.

Штыковой драки они не боялись и на себя надеялись.

Утром 1 марта матросы вызвали к себе всех своих офицеров, которые помещались во втором этаже, и предложили им в строевом порядке вывести обе роты из пределов царского дворца и парка.

— Вы нас привели сюда, вы нас и уводите отсюда, — сказали им матросы.

Офицеры очень растерялись, однако с напускным хладнокровием хотели не разговаривать с «оголтелыми» матросами, а молча убраться восвояси. Но пути отступления были отрезаны: в дверях и окнах стояли вооруженные матросы. Таким образом восемь офицеров, очень близких к придворному кругу, в самом же царском дворце, твердо еще охраняемом верной престолу стражей, оказались пленниками повстанцев.

Офицеры еще больше перетрусили и сразу потеряли личину спокойствия, а командир батальона забыл даже и про свою солидную внешность. Все они начали говорить умоляюще:

— Братцы, ведь это не от нас зависит. Над нами тоже есть начальство, как оно прикажет, так мы и делаем. К тому же мы находимся здесь в непосредственном распоряжении ее величества.

— Знать ничего не знаем; или ведите нас отсюда, или мы вас сейчас же всех здесь перестреляем! — категорически отвечали матросы.

Дрожа всем своим преогромным телом, больше всех перетрусивший, рабски просит командир батальона Мясоедов-Иванов:

— Разрешите хоть на минутку подняться наверх, чтобы доложить царице и спросить ее разрешения? Посудите сами, как же я могу иначе?

— Ведите или умирайте, иного выхода нет,— сурово и спокойно твердили матросы.

Делать нечего, офицеры вынуждены были подчиниться.

Построив всех матросов в две шеренги, они повели их наружу. На площади, перед самым дворцом команду построили вздвоенными рядами и офицеры, заняв места, выполняя все надлежащие правила военного устава, повели команду дальше.

Уходя, матросы видели, как во втором этаже дворца открылось окно и в нем показалась царица с дочерью Татьяной. И тут же истерический вопль огласил воздух. То рыдала царица. После рассказывали, что кто-то из придворных чинов спросил тогда Александру:

— Не прикажите ли, ваше величество, открыть огонь по уходящим морякам?

— Но вы тогда и офицеров перестреляете?

— Точно так, ваше величество, пуля не пощадит и офицеров.

— Нет, я не разрешаю,— тихо сказала царица и истерически разрыдалась.

Миновав все охранительные кольца, матросы, забыв своих офицеров, пустились бегом в село Александровку. Они полагали, что батальон продолжает еще оставаться там. Но никакого батальона там не оказалось. Когда они узнали от местных жителей, что все матросы еще вчера с вечера ушли из Александровки и Редько-Кузьмина в Петроград, настроение у них значительно повысилось.

— Стало быть, дела подвигаются.

— Шпаримте в Петроград! — кричат восторженно матросы.

И они не идут, а действительно шпарят, что ни есть мочи, в Петроград.

Оставшиеся у царскосельского парка морские офицеры частью вернулись обратно во дворец, увлекаемые командиром первой роты старшим лейтенантом Родионовым, частью куда-то исчезли, в том числе и командир батальона Мясоедов-Иванов.

В этот же день, после обеда батальон гвардейских моряков в полном составе (исключая разбежавшихся офицеров), при боевом вооружении, продефилировал по улицам Петрограда к Таврическому дворцу, для предоставления себя в распоряжение Исполнительного комитета Государственной думы и Совета рабочих и солдатских депутатов.

VIII

По возвращении из Таврического дворца матросы гвардейского экипажа принялись наводить у себя в экипаже порядки. Прежде всего началось осуществление на деле идеи выборности. Этим же вечером многих взводных командиров отстранили от занимаемых ими должностей, поставив взамен выборных. В третьей роте не замедлили разжаловать в рядовые фельдфебеля, сверхсрочного службиста Корзинина, на редкость жестокое и вообще злобное существо.

Вспомнив все его прегрешения, матросы захотели хоть немножко отыграться на нем. Но как? На этот счет взгляды сильно расходились.

— Ребра надо посчитать ему!

— Чего ребра, такому гаду и голову свернуть не грех!

— Бросьте, ребята, о таких вещах говорить, нешто резон нашему брату руки пачкать об него. Это ихнее дело было скулы сворачивать людям, а мы сможем что-либо иное придумать.

— К лешему их, кулаки-то о них околачивать, под ранец их вот на всю ночь.

— Вперед по коридору погонять основательно!

— Еще бы кой-кого из прежней сволочи надо подстегнуть к нему за компанию! — усердно кричали матросы, стараясь каждый добиться своего.

Дело кончилось тем, что разжалованного фельдфебеля и еще нескольких «капралов», все больше сверхсрочных, обрядили по-походному и с ранцами за плечами и винтовками на плечах немало гоняли бегом по коридору. Затем, подбавив в ранцы еще каменьев, поставили их под винтовку. На просьбы и мольбы Корзинина, которому досталось больше всех, матросы отвечали:

— Что, шкура, как нашего брата дрючить, так тебе приятно было, а теперь все гайки поотвинтились!

На Корзинина особенно были сердиты матросы, так как, помимо его жестокости, в нем еще не без основания подозревали сотрудника охраны.

Нечто похожее на это тогда произошло в 4-ой роте.

На следующий день во всех ротях появились выборные ротные командиры, а также были выбраны представители от экипажа в Питерский совет рабочих и солдатских депутатов, в число которых попал и пишущий эти строки.

Дальше встал вопрос о выборе экипажного комитета и командира экипажа.

Выборы в комитет прошли сравнительно спокойно, но выборы командира экипажа вызвали немало прений. Обсуждались, главным образом, три кандидатуры: ротного командира 4-й роты лейтенанта Кузьмина, старшего офицера «Полярной звезды» (яхта вдовствующей царицы) капитана 1-го ранга Лялина и, наконец, прежнего командира экипажа Кирилла Владимировича. Лейтенанта Кузьмина выдвигали, как офицера, принявшего участие в выступлении батальона и как человека, не делавшего зла подчиненным в прошлом.

Капитана Лялина считали как порядочным человеком вообще, так и знающим дело офицером. Кандидатуру Кирилла Владимировича выдвинули несколько матросов-канцеляристов. В качестве аргументов эти канцеляристы принесли на общее собрание послужной список бывшего великого князя и зачитали его.

— Видите теперь, что гражданин Романов не похож был на прочих великих князей. Он, как обычный офицер, проходил все этапы военной службы, начиная с морского кадетского корпуса. И за все это время очень хорошо относился к матросам. Возьмите пребывание его в качестве старшего офицера, а затем командира на крейсере «Олег», что он сделал кому плохого? Даже в 1910 г. за забастовку на судне никого не наказал. Он и теперь не пошел против революции, а сам повел батальон к Таврическому дворцу. И даже больше того, когда на Садовой улице полицейские с чердаков из пулеметов начали обстреливать проходивший батальон, то Кирилл Владимирович не только не растерялся и не стал прятаться от пуль, а взяв у первого попавшего под руку матроса винтовку, с колена стал отстреливаться,— доказывал оратор заслуги Кирилла Владимировича.

Его все время забрасывали репликами, вроде таких:

— Этого пьяницу беспросветного расхваливает как!

— А скажи, хорошего-то он что сделал?

— Допреж он действительно хорошо относился к матросам, а каково стало с ним плавать, когда он командиром «Олега» заделался?

— Э-э, полно там, давай о других поговорим, что без него-то мы людей не найдем!

Ясно было, что оратор не встречал поддержки в матросской среде. А когда один из матросов указал на то, что Кирилл Владимирович принадлежит к дому Романовых, против которого восстал весь русский народ, и в заключение, с особенным подъемом и особым повышенным тоном, произнес:

— Нам каждый ребенок будет колоть в глаза этим нашим поступком. Если вам зададут вопрос: кого выбрали своим командиром, то что вы на это скажете? Или действительно гражданин Романов настолько заслуживает внимания, что представляет собой исключение в своей среде? Я этого совершенно не вижу. У нас найдутся люди и более порядочные и более деловые, чем сей господин!

После речи другого оратора о Кирилле Владимировиче аудитория и слушать не хотела.

Когда вопрос был поставлен на голосование, то подавляющее большинство получил капитан 1-го ранга Лялин. Кандидатуру лейтенанта Кузьмина хотя и очень многие и довольно настойчиво отстаивали, но он не получил большинства лишь потому, что многие считали его еще не достаточно опытным офицером.

Когда Кирилл Владимирович узнал, что его оставили за бортом, то решил выяснить свое дальнейшее положение в экипаже непосредственно с матросами. Он обратился в экипажный комитет с просьбой созвать для него общее экипажное собрание. Комитет удовлетворил просьбу бывшего командира, и в условное время Кирилл Владимирович предстал перед гвардейскими матросами. Взобравшись на табурет, служивший трибуной, он обратился с небольшой речью к собранию, носившей характер просьбы. Конечно, Кирилл Романов не сочувствовал революции, но страх перед нею, стремление расположить в свою пользу матросов экипажа и желание сохранить за собою должность командира, продиктовали ему такую речь:

— Братцы, вы не смотрите на то, что я принадлежу к дому Романовых, но я искренно, от всей души приветствую революцию и вместе с вами торжествую по поводу свержения этой династии¹. Только глупец и бе-

¹ В настоящее время этот Кирилл возглавляет монархическую эмиграцию и мечтает о восстановлении дома Романовых, объявив себя „русским императором“.

зумец может теперь жалеть о самодержавии. Оно само себя изжило и, как подгнившее дерево, свалилось от малейшего дуновения ветра. Теперь долг каждого порядочного человека отдать себя на служение народу в той области общественно-государственной жизни, в которой он больше всего может быть полезен. Будучи морским офицером и проведши большую часть этой службы в гвардейском экипаже, я и впредь желал бы остаться в нем. Мне безразлично, в каком чине и на какой должности я остаюсь, хотя бы и командиром роты, но только прошу вас оставить меня в офицерском списке экипажа. Я прошу вас не отказать мне в этом, старому офицеру гвардейского экипажа!

Он как бы умоляюще обводил глазами стоявших вокруг него матросов и ждал ответа с их стороны.

Но все матросы, как один, молчали.

Бывший экипажный командир сразу разгадал это молчание. Он как-то неловко вздрогнул всем своим телом и как будто значительно уменьшился в объеме. Лицо его осунулось и покрылось бледностью, а глаза вперились в пол и стали казаться безжизненными. С полминуты стоял он в таком положении, не шевеля ни одним своим мускулом. Потом, наклонившись вперед, он зашатался на табурете. Стоявшие впереди матросы поддержали его и помогли ему сойти на пол. Кирилл Владимирович вытащил из кармана шинели носовой платок, вытер им слезившиеся глаза и молча направился к выходу.

Через два-три дня, по возвращении батальона из Таврического дворца, стали появляться в экипаже разбежавшиеся офицеры. Последним пришел Мясоедов-Иванов. Говорили тогда, что он все эти дни в селе Александровке заливал горе вином. Общим экипажным собранием решали матросы, кого принимать из них и как принимать в экипаж. Некоторых тут же отправляли на определенное время в карцер. Так посту-

пили и с командиром батальона Мясоедовым-Ивановым.

Матросы, не удовлетворившись сообщением представителя экипажного комитета о появлении последнего, потребовали такую важную персону на собрание. Мясоедов-Иванов не замедлил явиться. Собрание встретило его не очень доброжелательно. Среди общего шума раздавались голоса:

— Дайте винной бочке пройти вперед!

— Смотрите, ребята, на кого он теперь похож!

— Теперь, брат, отошла ему лафа,— Суворин со своими объявлениями,— далеко не раскачаешься!

— Тот источник средств для него давно уж не существует!

— Почему?

— Разошелся он с женой-то своей.

— А может он порасскажет что-нибудь нам!

— Давай мы послушаем!

Мясоедов-Иванов, продвинувшись к самой табуретке, неизменно служившей на всех общих собраниях трибуной, остановился, тяжело дыша. Вид у него был убийственный. И без того толстые, мясистые щеки казались припухшими и обвислыми. Обвислым казался и преогромный его живот. Взор у него был притупленный, и под глазами висели большие, синеватого оттенка мешки. Нижняя губа слегка свисла, и сам он весь осунулся.

Он попросил слова.

Когда аудитория смолкла, то Мясоедов-Иванов, будучи уж на табурете, начал свою речь. Он говорил немного, невнятно и очень путано. Но все же кое-что понять было можно. Вся его речь сводилась к просьбе о помиловании. Однако его рабский вид и проявленная им трусость производили совсем другое впечатление на слушателей. Речь его слушали не очень терпеливо.

По окончании речи Мясоедова-Иванова и после того,

как аудитория несколько смолкла, один из матросов, Яковлев, протискавшись вперед и подойдя поближе ко все еще стоявшей на возвышенности преогромной фигуре бывшего командира батальона и ткнув его пальцем в большой отвислый живот, с простотой ребенка, спросил:

— Это что?

Постояв немного молча и с тем же детским любопытством рассматривая стоявшего пред ним великана, будто впервые его увидел, он, наконец, заговорил снова:

— Жиру у тебя столько откуда появилось?— а сам продолжал тыкать пальцем в его брюхо.— Поди все это за наш счет наел, чортова корова. Ишь напихал туды такую махину, вряд ли на воз покладет. А это что?— теребя его уже за большие, перевесившиеся за воротник тужурки жировые складки на шее,— эвона как насосался нашей кровушки!

Яковлев опять перешел к брюху Мясоедова-Иванова. Похлопав по нему ладонью, спросил:

— Сколько нужно было вина в день, чтоб наполнить там все пузыри с кишками?

Среди матросов раздался смех.

Мясоедов-Иванов, чрезвычайно смущенный бесцеремонностью Яковлева, начал оправдываться.

— Да что же я, господа, мог поделаться с собой, когда я так привык к вину, что без него жить не могу.

— Однако, у тебя губы-то не дуры!

— А к серому квасу с черствой коркой хлеба ты не привык?

— От того знать и растолстел, что больно уж привычки имел хорошие,— кричали в насмешку матросы.

А Яковлев спокойно продолжал свое:

— А... я бы не хуже тебя привыкнуть мог к вину, да видишь ты, в каком положении мы находимся. К примеру сказать, на фронте вон, я заболел ногами и двигаться почти не мог. При передвижении батальона меня посадили было на повозку, ты тогда обложил

меня матом и велел сбросить к чорту. А то, говоришь, вино мне некуда ставить.

Мясоедов-Иванов стоял молча, не намереваясь видимо больше оправдываться. Только по окончании речи Яковлева, он тихо спросил:

— Воды бы мне?

— Человек, воды барину! — громко и насмешливо крикнул кто-то из матросов.

— Нет, уж, господин хороший, теперь уж лакеев нет, — с эпическим спокойствием сказал Яковлев.

Мясоедов-Иванов зашатался на табурете и как бревно повалился оттуда. Матросы не дали ему упасть на пол.

Его сейчас же отправили в самый наихудший карцер.

Через несколько дней Мясоедова-Иванова и капитана 2-го ранга Кублицкого отправили в Таврический дворец в министерский павильон.

